Глава 1

Дьявольское зелье

Месяцем ранее, 23 августа 1939 года, после полудня из-за облаков вынырнули два “Кондора” Focke-Wulf 200 и начали снижение над Ходынским аэродромом в Москве. Эти ловкие, современные четырехмоторные монопланы отправились в полет накануне, ближе к ночи совершили посадку в восточногерманском городе Кёнигсберге, а утром продолжили свой путь к столице СССР. В каждом самолете находилось около двадцати официальных лиц — советников, переводчиков, дипломатов и фотографов. Возглавлял делегацию министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп.

Пока самолеты заходили на круг, готовясь к посадке, пассажиры убивали время кто как мог. Полет из Кёнигсберга длился пять часов, и многим уже не сиделось на месте. Тщеславному и напыщенному Риббентропу выпала довольно беспокойная ночь: волнуясь из-за возложенного на него задания, он перечитывал официальные документы и делал множество пометок²⁸. Другие, напротив, отдыхали. Например, личный фотограф Гитлера Генрих Гофман отсыпался после бурно проведенной ночи. Все знали, что он выпивоха и кутила (за ним даже закрепилось прозвище Reichssäufer —

“рейхспьяница”), и, верный своей репутации, он не упустил случая улизнуть из кёнигсбергской гостиницы в ближайший бар. Пробудившись перед самым приземлением, он с радостью обнаружил, что “проспал как младенец” весь полет²⁹.

Многие пассажиры вглядывались в летное поле и город, расстилавшийся внизу. Летать они начали лишь недавно, и вид, открывавшийся с высоты птичьего полета, внушал одновременно и восторг, и ужас. Кроме того, от самой Москвы веяло чем-то диковинным. Столица советского государства не только географически удалена от известных немцам мест — ее имя отягощали и самые мрачные политические коннотации. Ведь здесь была родина пролетарской революции, исток мирового коммунизма. “Странно было сознавать, — писал позже один из партийных лидеров, — что судьба вдруг забросила нас в Москву, с которой мы еще недавно яростно боролись как с врагом европейской культуры”³⁰.

К прилету гостей основательно подготовились: и на летном поле, и на двухэтажном здании аэровокзала развевались германские и советские флаги: свастика самым несуразным образом смотрелась рядом с серпом и молотом. А ведь всего за несколько дней до этого подобное соседство показалось бы Генриху Гофману, да и многим другим, просто немыслимым зрелищем³¹. Очевидно, и советским властям оно казалось столь же невероятным: найти достаточное количество флагов со свастикой для данного случая оказалось очень сложной задачей; в итоге немецкие знамена позаимствовали у московских киностудий, где их еще недавно использовали для съемок антинацистских пропагандистских фильмов³².

Когда Риббентроп начал спускаться по трапу, военный оркестр заиграл вначале «Deutschland, Deutschland über alles», а затем “Интернационал”. Последовало знакомство: представители встречающей советской делегации и их го-

сти из Германии обменивались энергичными рукопожатиями, все улыбались. Кое-кто из немецких участников встречи впоследствии вспоминал тот прием с изрядной долей цинизма. Дипломат Ганс (Джонни) фон Херварт, в ту пору секретарь посольства Германии в Москве, стоял рядом с коллегой и наблюдал за тем, как группа гестаповцев пожимает руки энкавэдэшникам. “Они явно довольны тем, что наконец-то им позволили сотрудничать, — заметил его коллега и добавил: — Но надо быть начеку! Все это плохо кончится, особенно когда они начнут обмениваться данными”³³. Между тем старший переводчик Гитлера Пауль Шмидт с любопытством отметил, что их встречает заместитель советского наркома иностранных дел Владимир Потемкин. Будучи человеком образованным, Шмидт знал о том, что в XVIII веке тезка Потемкина, один из генерал-губернаторов Екатерины II, построил в Крыму бутафорские поселения, желая произвести благоприятное впечатление на императрицу; впоследствии их так и назвали — “потемкинские деревни”. Потому фамилия Потемкина была для Шмидта символична — она намекала на нереальность всего происходящего³⁴. Пилот Ганс Баур был настроен менее цинично. Он наблюдал за Риббентропом, который осматривал почетный караул, набранный из элитных подразделений военно-воздушных сил, и его поразило это зрелище, больше похожее на сон: министр иностранных дел Германии быстро шагал мимо строя советских воинов, выбросив руку в нацистском приветствии “Хайль Гитлер”. “Вот это да, — подумал он, — глазам своим не верю!”³⁵

Чувство изумления наверняка испытывали представители обеих сторон. Почти все предыдущее десятилетие нацистская Германия и СССР только и делали, что обменивались оскорблениями. В конце 1920-х годов Гитлер, в ту пору политик-оппозиционер, наживал политический капитал тем,

что изображал и коммунизм, и Советский Союз чуждыми и злобными силами, представляющими угрозу для немецкого народа и его ценностей. Он постоянно обрушивался на Москву, твердил о “евреях — деспотах и кровососах”, заставших в Кремле, и называл большевизм “подлым преступлением против человечества” и “адским выкидышем”³⁶.

Придя к власти в 1933 году, Гитлер практически не смягчил антисоветскую риторику. Со временем он выработал тон, выражавший неослабную враждебность, и редко упускал возможность осыпать Москву и ее агентов яростной бранью и похвалить нацистскую Германию за борьбу на передовых рубежах против коммунизма. Пожалуй, типичной можно назвать программную речь Гитлера на нюрнбергском съезде нацистской партии в сентябре 1937 года. В ней он сделал упор на единство и общность цивилизованных наций — “великой европейской семьи народов”, которые “подают друг другу примеры, образцы и уроки... дают радость и красоту”; в их обществе “у нас есть все основания питать взаимное восхищение, а не ненависть”. Этой мирной картине он противопоставлял образ “большевистской чумы”, “всецело чуждой стихии, которая не способна привнести ни капли пользы в нашу экономику или в нашу культуру, но несет с собой одно разрушение”³⁷. Гитлер, конечно, был политиком-приспособленцем, и все же антикоммунизм оставался одним из его руководящих принципов.

Но и Советы не отмалчивались в ответ. По мере того как в середине 1930-х годов отношения между Берлином и Москвой портились, в советских газетах все заметнее становились германофобские настроения. Сталин и его “паладины” наперебой критиковали в печати и публичных выступлениях Гитлера и нацистскую Германию. Гитлера часто представляли сумасшедшим, который “беснуется и юродствует” на трибуне, а речи его называли “кликушеством”³⁸. Гитлеровский

режим клеймили позором, называя нацистов “современными каннибалами... потомками Герострата”, которые в итоге “захлебнутся собственной кровью”³⁹. Кровь выступала неизменным лейтмотивом: в 1930-е годы в советской печати фашизм или нацизм редко упоминались без сопутствующего эпитета “кровавый”.

Эта вражда не имела наносного или тактического характера: она опиралась на идеологию. Как первое в мире коммунистическое государство, к тому же открыто призывавшее к распространению революции, Советский Союз первоначально рассматривал территориальную экспансию по отношению к внешнему миру как действие не только желаемое, но и важное для собственного выживания. И хотя со временем Москва перестала вынашивать столь откровенно воинственные идеи, Германия по-прежнему занимала особое место в ее честолюбивых геополитических планах. Если следовать марксистско-ленинскому учению, то насаждение коммунизма в доиндустриальной России было аномалией — это явилось побочным результатом хаоса, порожденного большевистской революцией. А потому, чтобы обеспечить коммунизму надежное будущее, его надлежало экспортировать в промышленное сердце Европы — в Германию, где, как ожидалось, передовой пролетариат с его здоровой идеологией давно мечтал сбросить кандалы буржуазной демократии и слиться в объятии с наследниками Маркса и Ленина⁴⁰.

Немцы тем временем тоже мыслили геополитически, однако их привлекали не сухие социально-экономические понятия, а крайне сомнительные расовые теории. Задолго до возникновения Третьего рейха германские государственные деятели и военачальники с вожделием смотрели на обширные территории России и Украины, видя в них желанный объект германской экспансии и колонизации, и на новый лад переосмыслили средневековое понятие “Натиска

на Восток” (*Drang nach Osten*). Именно такие настроения выплеснулись наружу с заключением в марте 1918 года карательного Брестского мирного договора, по условиям которого Россия выходила из участия в Первой мировой войне, а большевики уступали победоносной Германии обширный кусок российской территории — в том числе часть Украины и Прибалтику — вместе с четвертью его населения. Хотя эта уступка оказалась недолговечной — условия Брестского мира были аннулированы после разгрома Германии на Западном фронте в том же году, — немцы упорно цеплялись за давнюю мечту — расширить территорию Германии за счет России.

Больше того, пока Германия переживала собственные послевоенные тяготы, ее правые силы все явственнее усматривали в идее территориальной экспансии панацею, которая спасет страну разом от всех зол — бедности, голода и перенаселенности. Со временем Гитлер наведет новый идеологический лоск на эти давние настроения, начнет обличать пороки и злоупотребления большевиков и призывать к расширению Германии за счет их земель. В книге *Mein Kampf* (“Моя борьба”), написанной в 1924 году, он разъяснял собственные — впрочем, полусырые — идеи на эту тему. Россия, писал он, лишилась в результате революции своего “германского правящего сословия”, власть там захватили евреи, а потому она пребывает в состоянии “брожения и разложения”, и вскоре ее “ждет распад”. А потому он делал вывод: пришла пора германскому народу “обратить взгляд на земли Востока”, ведь именно там можно было бы восполнить нехватку жизненного пространства — *Lebensraum*⁴¹.

Конечно, партнерское соглашение, о котором зашла речь в 1939 году, было весьма далеким и от беспощадного завоевания, о котором грезил Гитлер, и от экспансии на запад, которую планировал Сталин, — и все же оба лидера вполне

могли видеть в нем первый шаг. Сталин наверняка хорошо помнил высказывание Ленина о том, что история движется не по прямой, а “зигзагами и кружными путями”, а Гитлер уже многое сделал для приближения к нацистским целям с помощью приспособленчества и реальной политики, и нет ничего нелогичного в том, что каждый из них считал сговор с врагом лишь этапом достижения успеха его собственного дела. Поэтому обоим было простительно думать, что они исполняют свои идейные замыслы.

Столь грандиозные планы не были чужды, конечно, и министру иностранных дел Германии. Тщеславный и заносчивый Риббентроп был фигурой крайне непопулярной — даже среди соотарищей по нацистской партии. Когда-то он торговал шампанским, а потом женился на богатой невесте, прибавил к своей фамилии аристократическую приставку “фон”, ловко проник в высшие эшелоны Третьего рейха и благодаря имевшимся международным связям сделался любимым советником Гитлера по внешней политике. В 1936 году маслянистые льстивые манеры обеспечили Риббентропу место посла в Лондоне, а в начале 1938 года он наконец получил должность министра иностранных дел. За предыдущие месяцы Риббентроп, в равной мере агрессивный и невежественный, заметно поспособствовал порче международных отношений. Преданно и воинственно вторя голосу хозяина, он сделал многое для приближения неизбежного, по его мнению, и даже желанного конфликта, благодаря которому Германии предстояло утвердить в Европе собственную гегемонию. В этом смысле Риббентроп сыграл главную роль и в развитии отношений с Советским Союзом, который (оставив в стороне идейные разногласия) предлагал Германии не только стать ее надежным восточным флангом, но и начать экономическое сотрудничество, необходимое для назревавшего конфликта. Пакт, который

готовил Риббентроп, неизбежно ознаменует резкий поворот на 180° и ошеломит весь мир, зато позволит Гитлеру продолжить войну в крайне благоприятных для него условиях. Риббентроп понимал, что близится его звездный час.

После приема на Ходынском поле германскую делегацию доставили в здание бывшей австрийской дипломатической миссии: его отвели немцам в качестве резиденции. Многие гости воспользовались случаем немного познакомиться со столицей и советским режимом. Генрих Гофман посетил Новодевичье кладбище, чтобы увидеть могилу второй жены Сталина, Надежды Аллилуевой; позже он назовет этот памятник “самым красивым” надгробьем из всех, какие он когда-либо видел⁴². Между тем Пауль Шмидт пожелал совершить небольшую экскурсию по Москве в компании одного из коллег. Вот что он вспоминал:

На первый взгляд здесь обнаруживалось почти разочарывающее сходство с любым другим европейским городом. Но при ближайшем рассмотрении я заметил главное отличие. Счастливые лица, какие обычно видишь на улицах Берлина, Парижа или Лондона, в Москве почти совсем отсутствовали. Люди сохраняли серьезность и смотрели перед собой с каким-то затравленным видом. Улыбки я видел очень редко⁴³.

Если Шмидта, пожалуй, можно упрекнуть в том, что он обременил непосредственный опыт грузом предрассудков, то у пилота Ганса Баура не осталось ни малейших сомнений относительно того, какова в реальности жизнь в Советском Союзе. Отъехав на машине от резиденции военного атташе Германии, приставленный к Бауру гид указал на агента тайной полиции, которому поручено докладывать властям и об их отъезде, и о том, куда именно они едут. Гид объяс-

нил ему, что скоро к ним “прицепится другая машина, поедет за нами метрах в сорока-пятидесяти, и куда бы мы ни повернули, что бы мы ни делали, [тайная полиция] будет следовать за нами по пятам”⁴⁴. Политически наивного Баура много раз предупреждали, чтобы он ничего не фотографировал, а однажды он вызвал скандал, когда попытался сунуть чаевые русскому шоферу — в благодарность за услуги. “Он словно взбесился, — вспоминал летчик. — Он кричал, что так-то мы хотим отблагодарить его за все хорошее, что он для нас сделал, — упечь его в тюрьму! Ведь нам хорошо известно, что ему запрещено принимать чаевые”⁴⁵.

Тем временем в посольстве накрывали столы с роскошными закусками для прилетевших гостей. Генрих Гофман поражался: он не ожидал увидеть в столице советского государства такое изобилие. Впрочем, скоро его удивление прошло: ему сообщили, что все выставленные яства доставили сюда из чужих краев. “Все это привезли из-за границы, даже хлеб был из Швеции, сливочное масло — из Дании, а остальное — из разных других мест”⁴⁶. О том, что в Москве сложности с продовольствием, Ганс Баур догадался еще раньше, на аэродроме. Он хотел избавиться от кое-каких продуктов, оставшихся от предыдущего полета, и потому предложил команде советских механиков и уборщиков, возившихся с его самолетами, забрать булочки, печенье и шоколадки. Но, к его удивлению, те отказались: бригадир сказал, что это строго запрещено и что у русских людей достаточно своей еды. Бауру, конечно, это показалось странным, но все равно, не желая, чтобы еда пропадала, он выложил ее на скамейке в ангаре. Очень скоро все бесследно исчезло⁴⁷.

Пока спутники Риббентропа знакомились таким образом с советской столицей, сам он устремился на открытые переговоры с советскими партнерами. Не прислушавшись к советам своих коллег в посольстве (те предлагали ему про-

явить больше сдержанности, чтобы не выглядеть слишком нетерпеливым), Риббентроп сразу же по прибытии спешно отправился на первое совместное заседание с советской стороной⁴⁸. Его занимало другое. Советник и переводчик при посольстве Густав Хильгер вспоминал, что, когда они уже собирались выехать в Кремль, Риббентроп отвел его в сторону и проявил неожиданную отеческую заботливость. “У вас такой обеспокоенный вид, — сказал Риббентроп. — Что-нибудь случилось?” Хильгер, который родился в Москве и почти всю жизнь прожил в России, высказал опасения, вызванные предстоящей задачей, и заявил: “По-моему, то, что вы собираетесь сделать в Кремле, будет иметь силу лишь до тех пор, пока Германия остается сильной”. Риббентроп ничуть не смутился и ответил: “Если это — все, я могу лишь сказать вам, что Германия в дальнейшем справится с любой ситуацией”⁴⁹.

После этого Риббентроп и Хильгер вместе с Фридрихом Вернером фон дер Шуленбургом, послом Германии в Москве, и Николаем Власиком, начальником охраны Сталина, сели в лимузин, принадлежавший НКВД, и тот пронесся по Красной площади. Въехав на территорию Кремля через впечатляющие Спасские ворота, машина остановилась возле изящного трехэтажного здания Сенатского дворца на северо-восточной стороне Кремля, прямо за стеной, отделяющей его от Мавзолея Ленина. Все это время об их прибытии злоеще оповещал звон невидимого колокола.

Гостей встретил лысый тучный человек — Александр Поскребышев, личный секретарь Сталина. По невысокой лестнице он провел их на второй этаж. Там, в аскетично обставленном кабинете, их встретил сам Сталин, скромно одетый в простой китель, галифе и кожаные сапоги с высокими голенищами. Его легко было узнать по узким желтоватым глазам и рябому лицу. Рядом со Сталиным стоял Вя-

чеслав Молотов, нарком иностранных дел, — низкорослый, довольно невзрачный, в простом сером костюме, во всегдашнем пенсне, с аккуратно подстриженными седоватыми усами. Иностранцы редко имели возможность видеть советскую власть в таком концентрированном виде, и Шуленбург будто бы даже тихонько взвизгнул от удивления при виде Сталина: хоть он и служил уже пять лет послом в Москве, но еще ни разу живьем не видел советского лидера. На Риббентропа его присутствие тоже произвело большое впечатление, и позже он пространно разглагольствовал о Сталине как о “человеке исключительного масштаба”, полностью оправдывающем свою репутацию⁵⁰. Сталин, со своей стороны, обычно принципиально избегал встреч с министрами иностранных дел, так что, вероятнее всего, его тогдашнее присутствие было тщательно продуманной стратегией: оно должно было и нагнать робость на гостей, и заставить их врасплох⁵¹. Независимо от мотивации присутствие Сталина, безусловно, доказывало, насколько серьезно воспринимались эти переговоры.

Состоялось знакомство и обмен дежурными любезностями (Сталин держался с гостями “просто и скромно”, с “веселым дружелюбием”⁵²), а затем четверо главных участников встречи — Сталин и Молотов, Риббентроп и Шуленбург — уселись за стол и приступили к делу. Позади Сталина сидел его переводчик, молодой Владимир Павлов, а Хильгер, выступавший переводчиком при Риббентропе, устроился между министром и послом Шуленбургом. Переговорам, которые начались в тот день, предстояло вызвать политическое землетрясение.